

С. А. ЛЕВИЦКИЙ

Лев Шестов (1866–1938)

Лев Шестов был одним из пионеров русского религиозно-философского Ренессанса. Его первые книги, в которых он с исключительной силой и глубиной ставил «проклятые вопросы» бытия и мышления, появились в конце XIX и начале XX века («Шекспир и его критик Брандес», «Добро в учении Толстого и Ницше», «Достоевский и Ницше. Философия трагедии»). В книге о Шекспире он вооружается против просвещенно-мещанского истолкования Шекспира датским критиком, пытающимся выводить из трагедии мораль, что для Шестова является признаком «этического безвкусия». Уже в этой первой своей книге Шестов дает своего рода апологию трагического начала в жизни — черта, характерная для всех его последующих книг. Недаром Шестовым впоследствии так заинтересовались западные экзистенциалисты. Книга «Достоевский и Ницше» явилась, наряду с книгой Мережковского («Толстой и Достоевский»), одной из первых книг, в которых было подчеркнуто значение Достоевского как мыслителя (почин принадлежит в этом отношении Розанову¹). «Записки из подполья» оригинально истолковываются Шестовым как своего рода ответ «Критике чистого разума» Канта. В этой книге Шестов подчеркнул также значение «подпольных» героев Достоевского, как ключа к целостной философии жизни писателя. Отрицательный — богооборческий и атеистический — момент мировоззрения Достоевского был выведен Шестовым на первый план — в противовес «благостным» истолкованиям творчества писателя. Указание на родство между Достоевским и Ницше, ставшее вскоре общим местом, также принадлежит к числу открытых Шестова.

В самом Шестове было, несомненно, много родственного Ницше, знакомство с произведениями которого он воспринял как «потрясение» и «внутренний переворот». Моралистическое миросозерцание, которого (не без влияния Толстого) Шестов придерживался раньше, стало для него неприемлемым после добровольной инъекции ницшеанского огненного скепсиса. Шестов понял, что мораль, не укорененная в Боге, лишается своей ценности, что метафизические вопросы о Боге, бессмертии — суть «единое на потребу» ищущей мысли. Характерны в этом отношении заключительные слова его книги «Добро в учении Толстого и Ницше», где он прямо говорит: «Одно Добро бессильно справиться с человеческими трагедиями. Нужно искать Бога». Все дальнейшие писания Шестова одушевлены этим метафизическим богоискательством, подлинность которого не может не заразить сколько-нибудь чуткого к мысли читателя.

Однако философия Шестова, впервые намеченная им на анализе творчества Шекспира, Толстого и Достоевского, в корне отлична по своему духу от философии русских «кающихся марксистов»² (хотя сам Шестов, по-видимому, прошел в молодости через увлечение марксизмом, с тем, чтобы обратиться затем к религии).

Шестов в своих книгах нигде не ставит социальных вопросов, столь характерных для раннего периода творчества Бердяева, Булгакова, Франка. Преобладающий интерес с самого начала его творчества — метафизико-этический. Если в философском творчестве проповедников «нового религиозного сознания» заметен уклон в пантеизм (получивший яркое выражение в софиологии Флоренского и Булгакова), то у Шестова новое религиозное пробуждение носит старозаветный отпечаток. Он не устает подчеркивать пропасть, отделяющую Творца от твари, — трансцендентность и всемогущество Иеговы. Эта религиозная ориентация Шестова выступила явно лишь в последующих трудах. В первых же работах преобладает скепсис. Шестов по праву может считаться одним из самых глубоких скептиков в мировой философии. Его скепсис направлен против рационализма, против веры в незыблемые начала разума и в принудительную мощь истины.

Шестов — крайний иррационалист. Он явно предпочитает тертульиановское «кредо, квия абсурдум», — ансельмовскому «кредо, ут интеллигам»³. Религиозный иррационализм в обличении радикального скепсиса — такова формальная характеристика его философского творчества. Шестов — скептик и иррационалист во имя Божие.

Нужно отметить также выдающееся литературное дарование Шестова. Он пишет необычайно просто и изящно, даже когда он касается труднейших проблем метафизики. Его стиль строг и сознательно лишен литературных украшений. Но именно на фоне этой внешней сдержанности и строгой ясности проступает его страстная, исполненная пафоса богоискательства мысль.

Шестов — крайний иррационалист и волюнтарист. Он всю жизнь вел борьбу против «самоочевидности разума», стремясь прорваться сквозь «логическую цепь умозаключений». Ибо разум парадоксальным образом оказывается у него величайшим врагом истины.

Истины разума, по Шестову, не освобождают, а порабощают мысль. Это звучит почти абсурдом, но для Шестова абсурд — скорее показатель истины, чем признак недомыслия или заблуждения. Подобные парадоксальные заявления (а их много рассыпано в книгах Шестова) являются дерзким вызовом главным традициям классической философской мысли и, будучи оторваны от контекста, могли бы быть приняты за бред безумца. Но они, как правило, прокомментированы чрезвычайно рациональными методами и изложены с подкупающей ясностью, и всегда с обилием кстати подобранных цитат.

Крайний иррационалист Шестов ведет борьбу против разума подчеркнуто рациональными способами. Он очень хорошо сознает всю парадоксальность и внешнюю безнадежность своей борьбы против чистого разума. Недаром он говорит о «страшной власти чистого разума» и о том, что «очень редко удается душе проснуться и от самоочевидностей разума».

Эту борьбу Шестов ведет во имя религиозной веры и сверхчеловеческой свободы, которые для него, опять-таки парадоксально, совпадают. Протестуя против «тиrания подчинения разумной истине», он говорит: «Ум ведет к необходимости, вера ведет к свободе».

«В границах чистого разума можно построить науку, высокую мораль, даже религию, — пишет он, — но нельзя найти Бога». «Рационализм веры, — писал он ранее, — фактически вылился в отвержение веры и замену ее богословием». «Рационализм может заглушить чувство... — писал он в “Апофеозе беспочвенности”. — Последняя истина — по ту сторону разума». Можно найти множество подобных и даже еще более парадоксальных цитат в произведениях Шестова.

Основная аргументация Шестова (лучше всего выраженная, пожалуй, в «Скованном Пармениде») очень проста: Разум познает Необходимость (ананкэ) и стремится все случайное подвести к Необходимости. Закон противоречия (а не есть не-а) и закон достаточного обоснования (в форме причинности или целесообразности) — основные методы разумного познания. Стремясь познать таким логическим образом наш мир, разум этим самым оправдывает разумной необходимостью все совершающееся (независимо от того, производится ли такое оправдание с материалистических или идеалистических позиций). Но наш мир во зле лежит. В нем несправедливости и зло господствуют над справедливостью и добром. Человек является в нашем мире рабом природы и истории. Поэтому, оправдывая наш мир разумной Необходимостью, разум этим самым оправдывает зло и рабство человека. Между смертью отравленного неправедными судьями Сократа и смертью бешеной собаки разум не делает никакого логического различия. В обоих случаях это вызвано разумной необходимостью. Мало того, говорит Шестов, суждение «Сократ был отравлен» сохраняет свое значение на все века.

Эта этическая подоплека («мир во зле лежит») философского творчества Шестова, конечно, недоказуема силами одного разума. Недаром поклонник разума Спиноза призывал «не радоваться, не печалиться, не негодовать, но лишь понимать»⁴. Шестов считает этот завет Спинозы вероисповеданием «истинной философии». Но сам он прибавляет, что хочет не «истинной», а «лучшей» философии, то есть такой философии, которая подводила бы нас к подвигу и мистерии веры. Именно поэтому своими лучшими союзниками он считает Платона и, особенно, Плотина — философов, которые призывали к трансценденции и наш лежащий во зле мир считали вторичной, «производной», чуть ли не ил-

люзорной реальностью. «Бежим к нашей милой отчизне», — не устает он цитировать любимого им Плотина.

«Оглядываться на каждом шагу и опрашивать разрешения у истины, — пишет он, — нужно лишь постольку, поскольку человек принадлежит к эмпирическому, в котором и в самом деле господствуют законы, нормы, правила... но человек ищет свободы и рвется к божественному».

«Сама жизнь, — пишет он далее, — есть творческое дерзновение и поэтому вечная, несводимая к готовому и понятному мистерия». «Человек, свободный от тех ограничений, которые выпали на нашу долю (в силу грехопадения), не подозревал бы, что есть истина и ложь, и пребывал бы в истине и добре».

Этот призыв Шестова к неограниченной свободе, совпадающей с истинной верой, имеет, конечно, мистические корни. Читая Шестова, иногда кажется, что наш философ в самом деле считает весь мир страшным кошмаром, наваждением и стремится уверить нас, что стоит только сбросить это наваждение, как перед нами отвернутся врата того рая, из которого мы были изгнаны. Шестов доходит даже до того, что склонен отрицать неизменность прошлого — мысль, которую в Средние века высказывал Петр Дамиани.

Эту мысль о власти над прошлым — мысль не только о преодолении, но и об уничтожении дурного прошлого Шестов повторяет в разных вариантах с такой настойчивостью, что ее можно считать одним из главных движущих стимулов его философских устремлений. Мысль об уничтожении прошлого образует как бы «подтекст» его философии. Ибо Шестов преисполнен идеей о том, что «невозможное для человека возможно для Бога». Мало того, что сам человек станет богоподобным и обретет власть над бытием — власть абсолютного творчества, — если он преисполнится подлинной верой, для которой стираются границы между возможным и невозможным. Тогда и наше знание будет не только «копировать» явления или сводить их ко «всеобщему и необходимому», но будет творить события по своему произволу.

В последней своей книге «Афины и Иерусалим» Шестов с новой силой противопоставляет эллинскую мудрость подчинения законам разума иерусалимской жажде живого Бога. «Все говорит за то, — пишет он, — что человечество откажется от эллинского мира истины и добра и снова вернется к забытому Богу». «Страшный Суд, — продолжает он, — совсем не есть выдумка корыстных и невежественных монахов. Страшный Суд есть величайшая реальность». «Вера, не боящаяся невозможного, а жаждущая его», находится, по выражению философа, «по ту сторону разума и познания».

«По ту сторону разума и познания, — кончает он свою книгу “Скованный Парменид”, — там, где кончается принуждение, скованный Парменид, причастившись Тайне вечно сущего и вечно повелевающего,

обретет вновь изначальную свободу и заговорит не как судимый Истиной, а как власть имущий. Это первозданное, ничем не ограниченное соизволение, не вмещающееся ни в какое “знание”, есть тот единственный источник, из которого можно зачерпнуть метафизическую истину: да исполнится обетование и да не будет для вас ничего невозможного».

Мистическая сущность философии Шестова выражена в этом отрывке с редкою силою.

Нужно добавить, однако, что такие строки (где ставится точка над «и» его философского кредо) встречаются у Шестова редко. В большинстве случаев Шестов как бы кружится вокруг да около своего кредо, нападая со всех позиций на ненавистную ему «разумную необходимость» и раскрывая лишь полунамеками свое подлинное философское «веросознание». В этом кружении вокруг незримого центра «веросознания» заключается главная притягательная сила писаний Шестова.

Поразительно при этом, что философ, который, подобно Кириллову Достоевского, «всю жизнь об одном думал», умел в то же время каждый раз по-новому подходить и к своей главной, если не единственной, теме и умел свою «однодумность» делать притягательно-интересной.

Шестова можно, и должно, подвергать критике. Его идея, что разумная необходимость является исконным врагом веры, сомнительна. Такие суждения, например, как дважды два — четыре, никоим образом не ограничивают нашей свободы, а создают логические предпосылки ее осмысленности. Свобода от логических законов была бы свободой безумия. Впрочем, Шестов сам любит цитировать слова: «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом»⁵. Но это «высшее безумие» дерзания последних тайн, мудрость касания мирам иным, нужно, во всяком случае, отличать от каприза непризнания законов мышления. Касаясь Абсолютного, человеческий разум неизбежно наталкивается на антиномии, ибо Абсолютное выше всех логических законов и не вмещается в их плоскость. В этом стремлении к запредельному Шестов глубоко прав, призывая отбросить царство «всеобщего и необходимого». Но он часто обесценивает правду своего «последнего слова» и своего «высшего безумия» борьбой против разума там, где это не только безнадежное, но и бессмысленное предприятие.

Беда не в том, что истина «принуждает», а в том, что она слишком часто оказывается бессильной перед силами неразумия. Мещанское благоразумие, против которого с правом восстает Шестов, не есть еще голос разума. В своей борьбе против «метафизического мещанства», «склоняющегося перед истиной», Шестов слишком часто смешивает эти два понятия — правду разума и ложь рационализма, сущность которого в абсолютизации разума.

«Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными»⁶. В этом евангельском слове призываются не к вражде к истине, а к гармонии с ней.

Шестов прав в том, что вера выше разума. Но вера, не прошедшая через искус разума, была бы слепой. Задача не в том, чтобы упразднить разум, а в том, чтобы разум сам склонился перед Абсолютным и дал место вере за пределами компетенции разума, в сфере его законных притязаний (как это часто делает Шестов).

Во всяком случае, Шестов ставит в своих духовно волнующих писаниях насущные «проклятые» вопросы, и его призыв к реабилитации веры, будучи очищен от чрезмерного иррационализма, содержит в себе глубокую правду.

К. Д. ПОМЕРАНЦЕВ

«Умозрение и Откровение». О последнем сборнике статей Льва Шестова

Скажу без преувеличения, последняя книга Льва Шестова — точнее, сборник его статей — «Умозрение и Откровение»* есть одно из самого значительного, что мне удалось прочесть за последние десять лет (сборник состоит из уже напечатанных, но совершенно ненаходимых статей Льва Шестова, а потому и почти неизвестных широкой публике). Значительного, в смысле привнесения чего-то совершенно нового, заставляющего сначала и по-новому ставить основные религиозные и философские проблемы и по-новому же их разрешать. Но здесь следует оговориться: Шестов всегда останется Шестовым, с первых, еще задолго до Революции начавших появляться его статей и до его последней, буквально перед самой смертью написанной статьи о Гуссерле — «Памяти великого философа». Везде, через все философские статьи Шестова и через все его книги — «Апофеоз беспочвенности», «Власть ключей», «Киркегор и экзистенциальная философия», «Афины и Иерусалим» и т. д., красней нитью проходит основа основ его мысли, фундамент, на котором он строит все изумительное здание своей изумительной философии, его почти безумная уверенность, что, *подчинившись разуму, приняв его законы за безусловные и утвержденные им истины за вечные и незыблевые, человек потерял законы жизни и тем самым поставил смертное разумное знание над бессмертными истинами Откровения, Смерть над Жизнью.*

Только эта мысль высказана в «Умозрении и Откровении» с предельной силой, если не с предельным отчаянием. Ведь бороться, и бороться всю жизнь, пришлось с такими гигантами, с такими Монбланами и Ги-

* Издательство YMCA-PRESS. Париж, 1965.